
Андрей ЕГРАШОВ

ВЧЕРАШНИЕ ЛЮДИ

Рассказ

Петров Федор Петрович родился в 1870 г., д. Ольховка, русский, неграмотный, б/п, крестьянин. Арестован 13 сентября 1937 года, приговор — ВМН, разстрелян 8 октября 1937 года, место захоронения — Боровичи. *Источник: Книга Памяти Новгородской области*

...Ягодиночка на льдиночке, а я на берегу!
Дайте тоненьку тесиночку, к нему перебегу!

Я в Боровенке, у сродников в гостях. Середина зимы: за мерзлым стеклом на бельмастом градуснике не вдруг разберешь и поверишь — минус тридцать пять! — мы же беззаботно сидим за столом в уютной кухоньке.

...С ягодиночкой гуляли — и не два, а много лет...
И чево тако случилось — в сердцах любви нет!

Бабушка Настя, из-за которой, собственно, я ныне специально сюда прикатил, расстаралась — уважила гостя: я переполнен материалом, боюсь взорваться, как еще от чая и пряников. Достало бы лишь теперь таланта складно записать добытое: это как чемодан со значимыми вещами уложить в длительную командировку. Помогите, Господи!

...С ягодиночкой прощались у куста смородины:
дорогая, уезжаю на защиту Родины!

Диктофон моргает красным глазом: цифровое время кончено, со вздохом убираю полезную игрушку в карман рюкзака, пока неугомонная бабка выдает очередной перл:

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачку принесла:

Андрей Владимирович Еграшов родился в 1963 году на Новгородчине. Окончил в 1986 году Новгородский политехнический институт по специальности «инженер-строитель промышленного и гражданского строительства». В 2005 году окончил Академию госслужбы РФ, одновременно работал в Правительстве Ленобласти начальником отдела качества строительных работ. В 2008 году оставил службу и переехал на постоянное жительство в Окуловский район Новгородской области. Публиковался в журнале «Всерусский собор», альманахах «Вече», «Молодой СПб». Член Союза писателей России.

НЕВА 3'2014

«Передайте передачку,
А то люди говорят —
Заклученных в тюрьмах много,
Сильно с голоду морят».
Ей охранник усмехнулся:
«Твоего тут сына нет,
Прошлой ночью был расстрелян
И отправлен на тот свет».
Повернулась мать-старушка,
От ворот тюрьмы пошла...
И никто про то не знает,
На душе что понесла...

Бабка, за мой живой интерес разохотившаяся вспоминать, словно из мешка горохом весь вечер сыплет всякие частушки и исторки; стихотворение исполняет сейчас бесстрастно, вовсе без выражения, нехитро́, но это оно и есть — ИСПОЛНЕНИЕ! — вдумайтесь, вникните в корень слова — «полнота»; в подобных случаях мой знакомый — питерский театральный режиссер, радуясь, хлопает в ладоши и кричит актрисе: «Есть! В десятку!» — от матери бедного арестанта просьба звучит потухше, смиренно, а насмешка охранника — бесчувственно.

Затем без никакого перерыва начинается другое чтение. Удивительное дело, поэму «Орина, мать солдатская» она наверняка учила когда-то ещё девчонкой, давным-давно, в школе, но именно сейчас, в устах многоопытной старухи, когда-то в порядке послушания заученные, некрасовские строки приобрели подлинные глубину и смысл, которые меня буквально потрясают:

Чуть живые, в ночь осеннюю
Мы с охоты возвращаемся,
До ночлега прошлогоднего,
Слава богу, добираемся.
«Вот и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка!..

Пронзительно звучат слова, словно себе сама выговаривает бабушка Настя:

Не о смерти ли задумалась?
Брось! пустая это думушка!

Боровенка. Две тысячи десятый год, морозная русская зима электронного века — последнего?! Трещат дрова, мурлычет кот...

...Восемь лет сына не видела,
Жив ли, нет — не откликается,
Уж и свидеться не чаяла,
Вдруг сыночек возвращается.
Вышло молодцу в бессрочные...
Истопила жарко банюшку,
Напекла блинов Оринюшка,
Не намотрится на Ванюшку...

Бабка — хрипнет ли, сбивается? — отхлебывает из чашки остывший чай, после небольшой паузы продолжает:

...Да недолги были радости.
Воротился сын больнехонек,
Ночью кашель бьет солдатика,
Белый плат в крови мокрехонек!
Говорит: «Поправлюсь, матушка!»
Да ошибся — не поправился,
Девять дней хворал Иванушка,
На десятый день преставился...

Трещат дрова в круглой печи, простецкого вида рыжий котяра бесцеремонно метит взгромоздиться мне на колени, а бабушка Настя так же монотонно, невыразительно читает стихи и уже сама плачет — крупными, старыми слезами. Где-то глубоко плачу и я...

...Прошептал: «Прощай, родимая!
Ты опять одна осталась!..»
Я над Ваней наклонилась,
Покрестила, попрощалась,
И погас он, словно свеченька
Восковая, предыконная...
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

Я снова и снова поражен... осознанием полезности скорбей! Да, людей безмерно жаль, но ведь что обидно! — некоторые наши современники признают героический подвиг, особые качества предков, но признают их как-то **вообще**; ну да, мол, отцы на большее, чем мы, были способны! — признают, но беда — и их, и моя отчасти, — что при том немаловажном признании мы **сами себя** безнадежно унизили, приняв — тоже как-то **мимоходом**, что уж нам-то в том заведомо отказано, мол-де, ныне иная эпоха, и напряжение сил попросту ненадобно; ша! — все, спорить не о чем, вопрос закрыт! Есть и другая, как бы примирительная точка зрения: нам оставлены испытания иного рода, меньшего градуса; мы слабже — и испытания слабые. А коли так, твоя личная ненормальность, мой дружок-современник, вполне нормальна, она **в порядке вещей**, не винись!

В детстве зачитывавшихся Джеком Лондоном, Жюлем Верном, Майном Ридом и Вениамином Кавериним, нас растили на героических книжках с идеологической присадкой: «Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер!», откуда недвусмысленно следовало: если надо — то и умри! И не так давний Афган — можно ругать как глупую аферу выживших из ума политиканов, а можно принять как часть славной армейской истории, как испытание, из которого мы, пусть даже поначалу неправые, вышли сильнее и лучше... эх! да когда бы с умом и сердцем! Но был же, был настрой на подвиг! — общегосударственная установка на летчика и геолога, а сейчас... обезумевшая страна поет и скачет под дудку блудливой примадонны, да не для души поет, не в семейном кругу, а в концертных залах — с корыстью «тоже!», «пролезть!» — не в космонавты, а в эстрадные «звезды», у которых наибольшие ныне респект и гонорары.

На последней моей «нормальной» работе случилось обсуждать с сослуживцами

армейскую службу. Пустое время рождает пустые разговоры: устроился горячий диспут на немыслимую тему — «Комфорт на войне»! Великовозрастные мальчики, домашние, сами и сборов не служившие, едущие в лютую зиму в легких курточках на неломающихся иномарках без комплекта гаечных ключей в багажнике, мне пренебрежительно указывали, что умирать в будущем надлежит роботам, а у солдат-компьютерщиков должны быть спальные мешки, кофеварки и достойная зарплата. Ругали безжалостных генералов, без числа и жалости отправлявших солдатиков на кровавую бойню. Какая уж тут готовность умереть — за свою страну, за други своя?! Не хочется им — умирать-то; так ведь и естественной смертью, по старости, не захочется — до последнего станут деньгами прикрываться: шунтирования всякие, титановые суставы, пластиковые вкладыши; но от смерти, как от армии, не отмажешься, дураку ясно: умирать все равно придется, только тогда уже точно — «впустую», подлинно «ни за что».

Я сторонникам «гуманной войны» сдуру пытался возражать, схлопотав лишь ярлык человеконенавистника и сам себя олухом ощутив — куда спорить! — такие всегда и кругом правы — у них конституция и ихняя высшая ценность — «человеческая» (понимай — мещанская) жизнь! Такие нами нынче правят: помрут — проклинать грех и молиться за них смех. Мне же в утешение оставлены вчерашние люди, которые надо — идут лес валить, надо — роют окопы, надо — берут винтовки; уж такая хрень! — все равно до смерти чем-то придется заниматься! Умирать? — да, страшно, да тоже, кажется — надо! Надо! — слышите, нет?! Эх, как трудно сделалось умирать теперешним людям! — гордым, осуетившимся, при том, что и жить-то им не так, чтобы очень хочется, потому как, что за жизнь — не в полную грудь!

Недавно на окуловских сухарях потерял пломбу: сначала было немного, а потом, через какое-то время, нерв дал себя знать. Мне, прежде лечившемуся в лучших клиниках, в своем нынешнем стесненном финансовом положении невмочь уже вкладываться на каждый зубик по несколько тысяч; решил вырвать проблему; и впредь так же действовать! — обходится же дедушка мой без лишних костей во рту!

В регистратуре требуют страховой полис.

— Нету! — развожу руками с выразительной гримасой.

— Придется платно удалять.

Что поделаешь: удалять в любом случае дешевле, и проблема на будущее решается кардинально. Обул полиэтиленовые калоши, с шуршанием поднялся на второй этаж, отсидел с понятных страхов откровенную очередь, а хирург — симпатичная и тоже отнюдь не молчаливая особа, удалять зуб отказывается наотрез:

— У вас такой рот хороший! Мы вон с бабками — за каждый зуб боремся!

Говорю: нема у меня уже лишних грошей «на хороший рот». А она (похоже, помнящая клятву Гиппократову даже в наше шоколадное лихолетье!) секундой мне поставила бесплатный укол и отвела в другой кабинет, где не рвут, а лечат. Тамошняя врачиха, не сильно радуясь внеплановому «бюджетному» клиенту, но не удивляясь и не споря такому развитию событий, другой секундой высверлила дыру, заложила мышьяк, чем-то наспех замазала, покровительственно и с ходу перейдя «на ты»:

— Придешь через неделю, поставлю постоянную пломбу.

Пришел через неделю, со «Сникерсом», ушел с прежним количеством зубов. Общие впечатления от провинциальной клиники — работа выполнена не так чтоб очень качественно, но в целом нормально. Пока трудилась, врачиха то и дело говорила: «Сплюнь!», а куда плюешь — лучше не смотри; в медсанбатах нет времени на марафет. Нагрузка на врачей огромная, рты «плохие», «полости несанированные»:

сермяжный народ прет валом, и помощь оказывают, почти как на передовой — без лишних соплей, уговоров, но по-человечески как-то даже более сочувственно, нежели в капиталистическом, платном гламуре, куда я прежде был вхож. И разговоры здесь откровеннее: проще, грубее, при том честнее — в коридоре мужики матом кроют свою работу, политику партии и правительства, а в самом кабинете такой срисовал забавный сюжетец: смоталась одна из врачей за пирожными к чаю (стол накрыт тут же, за ширмой), возвращается, со свежего-то воздуха раздурманенная и ругается беззлбно: «Фу, девки, зубами-то навоняли палеными!» А ей так же беззлбно отвечают, не вынимая взглядов из широко распахнутых ртов своих земляков, в основном лично знакомых или сродников: «Иди ты в ж...!»

И все весело смеются — и врачи, и больные! И я смеюсь, потому что, помимо дребезжания в нижней челюсти, чувствую: мы — свои, мы — вместе!

...Трогаю свежую пломбу языком, на котором еще вертится: «Передайте передачу, а то люди говорят...»

— Что за стихотворение, бабушка? Откуда?

Бабка, довольная, подхватывает:

— «...Заклоченных в тюрьмах много, сильно с голоду морят!» Не стихотворение, сынушко Ондрюшенька! Песня! А откуда? — не ведаю. Бабка старая! Все померли, онная я осталася — на весь ЭСЭСЭР!

В свои восемьдесят девять она не «гораз» и перебарщивает; оттого я к ней и приехал, что нет эсэсэра, нет эпохи и бабок таких наперечет. Однако напоминаю:

— Как же, бабушка? А Татьяна? Концерты у нас в Заручевье выдает!

Ее — старшая! — сестра каждое лето снова и снова объявляется в деревне. Дети зиму терпят ее в городской квартире, пока она вытребует от них, чтоб отвезли в родительскую избу. Тогда Толя Воробьев наконец доукомплектовывает бригаду своих Тань — старух подопечных, с которых он кормится, а главное — поитсся; их у него, кажется, семь, сам я могу перечислить только четверых: бабка Таня Петрова, бабка Таня Корунова, бабка Таня Устинова и бабка Таня Зорина. Толины Тани — мои «птицы» («Птицы неперелетные» — название сборника); у меня они проходят со своими — уже «укомплектованными» судьбинushками, в которые заплелись всякие прочие судьбы, судьбы многих других старух и стариков, живых и мертвых уже. Речь идет о «вчерашних людях», до которых немного кому есть дело: сама бабка то и дело с лукавым поглядом переспросит:

— Чево ты, Ондрюшенька, про мертвых-то все спрашивашь? Пускай они себе в земле, о живых надо говорить...

Но сама что помнит, заводится с пол-оборота. И дочь ее Валентина, моя дальняя по езрашовской крови сестра, «с трех нот» подхватывает, и, кажется, она уж больше матери знает о той эпохе, от нее приняв и храня память родовую, хоть прежде досадливо отмахивалась от старухиных исторок в домхозяйственной колговерти — давно ль Пискаревы корову держать оставили!

— ...Как чево, бабанюшка?! Вот ты, например, отца своего любила? Как ты его, кстати, величала — отец, папаня?

— Тата. А коли пряников хотела — татушка! Любила! А он меня — без памяти любил. Сколь годов мне было — семь? — корью болела: жар, лицо все окинувше — шершавое, в пузырях, слышу, — матери говорит: «Анна, (если) Настенька умрет, я ведь и пятнадцати минут жить не останусь на свете!» И плачет. А и я слышу, с печки-то, тож плачу: «Не надо, тата, не надо! Я не умру!»

И сейчас плачет, слезами горячими-текучими:

— Думал, я сплю! Жалел гораз меня! Тошнёненько. Тыи уж большие, а я посленняя...

- У него борода была? — спрашиваю зачем-то.
- Короткая. Скобочкой. Приотрастет, просит: «Анна, поброй. Чешется!» Он же у нас культурный был, после ерманского плена, шесть годов там отбыл.
- Как это? Ты же говорила, он в войну уже болел...
- Это она про Первую мировую, — объясняет Валентина, что-то мастеровившая увлеченно у плиты, сама слова не упускавшая из нашего разговора.
- Да?! — удивляюсь.
- Бабка кивает головой, довольная и гордая, будто сама побывала в Германии:
- Я, было, заберусь к нему на печку — ён любил на печке... и молодой — всегда на печке, я и не видела, чтоб на полу...
- Это когда болел уже?
- Да и еще здоровый был, тоже любил — всегда спал на печке. И постелено внизу — пять минут не пролежит, мама смеется: «Айда, чемодан под мышку!» — подушку, значит... И я все у него, до двадцати годов. Приду, было, с улки, ён: «Настыка, сыпь на печку!» Ругается, ноги щупает — ледянки! — сунет к себе промеж ног, греться. А я ему: «Тата, поговори про Германию...»
- И помнишь, чего говорил?
- Чисто, говорил, там. На полу иголочку увидишь. Ну, да мы и сами всегда чисто жили...
- Валя в это самое время принимается на нее капитально бурчать: бабка ела с чаем черничный пирог, измазала руки — дочь отправила ее мыть руки, она пошла, но, оказалось, упавшая ягода прилепилась ей на тапок и она извазюкала кухонный линолеум. Чтобы утишить конфликт, хватаю тряпку и устраняю аварию.
- Наплевать! — дерзит бабка, подставляя скрюченные радикулитом ноги под обтирку и чешет скороговоркой:

...Дроля спрашивал года у реки, у бродика.
— Дроля, я тебя моложе на четыре годика! —

заливается язвительным смехом, видя, что я хватаюсь за карандаш.

Дочке никак не успокоиться:

— Забыла, сама сколько мне крови спортила со своей чистотой в былые годы...

Влезаю:

— Что посеешь, то и пожнешь. Мне вот чаще и чаще бабки со старой квартиры вспоминаются. Я, дело прошлое, любил музыку гонять. А под нами старушки жили — три сестры. Старшая у них была — Мария, самая грозная. Папиросы, помню, курила. «Беломор». Ваты внутрь напихает... Мы двери-то не закрывали в прежние времена. Придет без звонка, шнур из розетки выдернет. Я тогда дверь на замок, снова завожу. Начинает стучать по батарее или под дверью плачет: «Андрей, убавь, сестра болеет!» Убавлю, выжду малость, и снова на полную... А пришло время, и меня негритянской музыкой уважили соседи-рэперы...

Спохватываюсь — себя я и дома наслушаюсь:

— Ну, бабушка, сыпь дальше!

— А чего? Попал к немцу — богатый, хороший человек. Звал — сперва Пётров, потом — Ваня. «Запрягай, Ваня, машину, поедем!» Поедут — по делам, на рынок, в магазины. Отцу домой вертаться, — немец просит: «Ваня, оставайся, все будет твое!» У него только дочка онная была, никого больше.

— Вот и вернулся ваш Иван Петров на любимую печку, а тут ему советская власть и устроила кузькину мать... — грустно иронизирую, припоминая стихотворение Ольги Берггольц:

По равнинам гуляют дожди,
Сивой гривой — лесные просторы...
У деревни Ольховки в груди
Шевелится лохматое горе:
В этот год на полях по весне
От мороза корежился колос.
— Мало вяжут мешков на гумне
За скосившимся частоколом...
Потому бороздою пролег
На челе у деревни вопрос:
Не тяжел бы пришел продналог?
Не померз бы кудрявый овес?..
И снопами тоска залегла,
Крепких вязок не развязать...
И на поле сквозь муть стекла
Смотрят грустно бабьи глаза...

Бабка Настя на мой юмор вдруг не шутя сердает:

— Мы не худо жили!

Вмешивается в разговор Валя:

— Колхоз по деревне назывался — «Ольховка». Мама говорила, его промеж себя Украиной называли, потому что все росло. Хлебá росли. Все нищие шли туда, после войны, в войну. Всего несут, менять на хлеб: «Идем в Украину!» Голодное время-то было, наверное, года три. А в Михновичах, в Запольке хлеба росли хуже.

Бабушка прекословит, возвыся голос с раздражением на лодырей из прочих деревень:

— Да не хотели тоже!.. Они все яблоки возили — у них до тридцать девятого сады были, повимерзли — мороз страшный...

Валя уточняет:

— В финскую, финская война была. Пятьдесят четыре градуса!

Бабушка:

— ...Да, закоковело все. А у нас... очень хорошие были у нас хлеба! Пшаница — эва! — бабушка разводит руки: они у ней разбухшие, изработанные, с синими жилами под вощеной кожицей, а личико тоже сухое, но аккуратное — на нем маленький, ровный, будто несостаренный носик.

Валя согласно дополняет:

— Да, «Ольховка» — богатый был колхоз. В Михновичах колхоз назывался — «Лучки», «Красный Заполек» — в Запольке, «Смена» — в Заручевье, их потом все укрупнили, в пятьдесят седьмом. И хуже стало, уравниловка началась...

Бабушка продолжает грезить про сказочную пшеницу:

— Мололи, мельница была в Малом Запольке...

— Водяная? Ветряная?

— Которая на реке. Меня маленькую брали, я на мешках завязки делала. Пшаница белая-белая, вот такая! — бабка трогает скатерть. — Было, перед воскресеньем, тата скажет: «Анна, растворяй квашню, завтра опять пойдут...» — это он про попрошаек с других деревень. Божественный был, добрый. Мама спечет пироги, тата нахваливает: «У Анны пироги — не наистся!»

— Мать смирная была?

— Смирная?! У! Да чистый мазурик! — бабка говорит и смеется вслед за доче-

рю, подглядывая за мной еще острыми, с искоркой глазками. Отсмеявшись, объясняет:

— ...Из газет не вылезала. Передовица! Что задумает — выполнит. Печки клала, на крыши в семьдесят-то лет — босиком лазила, ремонтировала — отец-то уж не мог — себе делала, соседям... Все умела, за все бралась! Запольская!

— Из Заполька?

— Да. А отец — тот ольховской. Заполек-то и славился — яблокам! У, Ондрюшенька, милый, поедут, смотришь, только энти нагружены на парáх... подводы! — яблоки-то, в Торбино продавать. Дядя Ваня Беденков, мамин родной брат, у них тоже... хороший был сад. Вымерзло.

— Мама, давай-ка ложись! — напоминает дочка, поглядывая на часы. — Поздно уже.

— Наплевать! — снова грубит бабка и по-свойски клонится ко мне. — Мы ночь сидеть будем, так? Лей! — подталкивает свою чашку с розовым цветком.

— Тебе? — поражаюсь. — На ночь-то глядя...

— Наплевать! — упорствует бабка и выдает вообще несообразное: — Грунька, сси в щепки, **высохнёт!**

— Это еще откуль?

Валя смеется.

— Дедка Шалай такой жил в Ольховке. Старый-старый! Им с бабкой трудно зимой с печи слазить...

Я с сомнением, но таки переношу простонародные скабрёзности на свой листок. Тем более что Шалай — мой весьма вероятный сродник, по линии Евсея Андреева.

— Значит, у вас нет обид на Советы? — спрашиваю промежду прочим.

— Как же! Дядю Федю, отца брата, арестовали — застрелили, новый дом ево разобрали. Ён верующий был, в церкву ходил кажинное воскресенье. Тата не ходил, а он ходил. Потом устарел, — тоже не ходил, и церкву закрыли, так какой праздник когда — все (тропари) он знал: «Вот нынче эту молитву поют!» — сплет, что надо.

В ее голосе не слышать злой памяти. Простые люди не умеют злиться на власть, которая в их нехитром понимании есть некая неизбежная досада, попущенная за грехи; но зато через поколения попомнят конкретному человеку, причинившему конкретную же боль:

— Не так сказать, что власти, как потом народ... Коленька, брат, с двадцать первого — я с двадцать третьего, — уехал на призыв. И соседка идет... Таисса... мамушке говорит: «Анна! постой-ка!» — «Чего?» «Кольку-то вашего... не возьмут служить!» — «А чево не возьмут-то?» — «Так ён лишенец!» Мама говорит: «Мы не лишенцы!» — отцов брат, того — да, обрали всего, лишили голосу... «Да, — мол, — все равно!» Мамушка ей — хлясь позатычину! Так та уж после приходила: «Анна, прости!»

— Взяли?

— Коленьку? Взяли. Во флот! Пришел, довольнешенек: «Мамушка! Татушка! Бабушка! Меня во флот взяли!» Целует нас, обнимает. Он гораз хотел, ростом-то высокой был. Было, скажут: «Колька-то у Иван Петровича — не хочет и гулять!» Все работает, работает: пойдет — дрова топором нарубит, сам потом и вывозит. Топить-то надо! Дома-то — старые были. Да и вообще зимой холодно... Заготовлял... Взяли. Целый год письма писал, с Прибалтики: «Все хорошо!» Сфотографировался на карточку — высокий, красивый, одежда морская. Хотел во флот, и взяли во флот, дак. Место-то такое — море! Балтийское. «Очень хорошо, красиво все...» Потом написал: «Мама и тата, можа и долгонько не будет письма. Не расстраивайтесь, будет все хорошо!» Как написал эти слова, и капут, больше не пришло... Утопили где-то, антихристы!

Снова на бабкиных щеках повысыпали прозрачные бусины, а я вспоминаю свою — пусть и мирную, армейскую службу: уж как мне тогда хотелось домой — непременно, скорее, сейчас! О том уже однажды думалось, у воинского мемориала в нашем Высоком Острове, где на каменных плитах длинный перечень Колек и Ванек, так и не воротившихся в свои единственно желанные Заручевье, Михновичи, Низовку, Оленино, Пластиши, Ермолино, Заполек, Ольховку, Лекалово. Мне до туги сердечной жаль их: по эпохе — дедов, по возрасту — уже сынов моих, на чужих землях и водах приконченных самыми немисливо разными фронтовыми смертями; жаль, но я будто и позавидую им: эх вы, мои блаженные, сыскавшие ребяческую лазейку, да прямо-то в Рай! А немногим прочим остальным, теперь уж тоже трудно ушедшим, досталось разорить голубую мечту: солдатское братство вспоминать как лучшую пору жизни, на милой родине им была приготовлена не меньшая военной заботушка, и разруха продлилась дольше, чем у самих ослабло желание цепляться за реальность, в которой так и не сыскалось ни спокойного счастья, ни — главное! — ответа на замятый безбожной властью вопрос: зачем ты рожден, Иван-дурак, и ради чего тянешь жилы! Вот те, Ванька, пряником, бутылка горькой за собственные нищенские копейки и вот те, Ванька, кнут, если ты вдруг с той бутылки лишка ошалеешь...

Молчу, ничего больше не пытаю у бабки, устал: привык в заручевской пустыни рано укладываться: больше спишь, меньше грешишь. Валя стелет мне диван в зале. Зала просторная, по-современному обставленная, кажется — городская квартира: роскошные шторы, мягкая мебель, огромный экран жидкокристаллического телевизора, всякие там DVD-приставки с мерцающими огоньками, магнитофонище с огромными колонками, на полу ковер, на потолке — золоченая люстра. Все как у людей. Нынешних.

Здесь разгадка моей ностальгии. Нами овладели вещи! Мы в рабство попущены жратве и барахлу; ту, незаметно приключившуюся, беду мы прямо не засекали, удивляясь уже на последствия — дефицит времени и так же вдруг стремительно потускневшую жизнь.

Я сделал это открытие случайно, когда прошлым летом, налегке — с полупустым рюкзаком, в котором всего-то лежали бутылка пластиковая родниковой воды и краюшка хлеба, — шествовал с Заручевья до Боровенки, чтобы уже оттуда, как-нибудь автостопом добираться дальше, в Окуловку. Шел себе, шел, ноги до крови потер, и вдруг ощущение такой безграничной свободы охватило меня, такого детского счастья! По обе стороны дороги высились узкоплечие ели, в лесных зарослях, ошалелые, буянили птицы, и мне некуда было спешить: изовсюду уволен, и отца шесть лет как схоронил, откуда ясно, что самому тоже невольге отсюда вовсе предстоит уйти, и то — кому-то печальное, мне нисколько — понимание дало мне другое, неожиданно радостное: жизнь проста! и незачем здесь шустрить, незачем всерьез приспособливаться, и какое счастье, что можно так вот тоже совершенно просто — идти, идти и ни от кого и ни от чего не зависеть! И если суждено еще пожить, значит, найдется и чего жунуть... и поделаться чего.

«Ваня, оставайся, все будет твое!»

...От печи пышет жаром, мягкая же постель еще холодит, не вдруг угреешься, но я уже засыпаю, сквозь ватную дрему слыша из соседней комнатушки Валентиного незлое бурчание на колготню расходившейся бабушки:

Я любила и люблю солдатика военного,
никогда не изменю своёва слова верного!